

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ

ГЕНИЙ

Это было задолго до войны. Летом. Я жил у тети в Тбилиси. Мне было двенадцать лет. Как почти все в детстве и отрочестве, я пописывал стихи. Каждое стихотворение казалось мне замечательным. Я всякий раз читал вновь написанное дяде и тете. В поэзии они были не слишком сведущи, чтобы не сказать больше. Дядя работал бухгалтером, тетя была просвещенная домохозяйка. Но они очень меня любили и всякий раз, прослушав новое стихотворение, восторженно восклицали: «Гениально!»

Тетя кричала дяде: «Он гений!» Дядя радостно соглашался: «Еще бы, дорогая. Настоящий гений!» И это ведь все в моем присутствии, и у меня кружилась голова.

И вот однажды дядя меня спросил:

— А почему у тебя нет ни одной книги твоих стихов? У Пушкина сколько их было... и у Безыменского... А у тебя ни одной...

Действительно, подумал я, ни одной, но почему? И эта печальная несправедливость так меня возбудила, что я отправился в Союз писателей, на улицу Мачабели.

Стояла чудовищная тягучая жара, в Союзе писателей никого не было, и лишь один самый главный секретарь, на мое счастье, оказался в своем кабинете. Он заехал на минутку за какими-то бумагами, и в этот момент вошел я.

— Здравствуйте, — сказал я.

— О, здравствуйте, здравствуйте, — широко улыбаясь, сказал он. — Вы ко мне?

Я кивнул.

— О, садитесь, пожалуйста, садитесь, я вас слушаю!..

Я не удивился ни его доброжелательной улыбке, ни его восклицаниям и сказал:

— Вы знаете, дело в том, что я пишу стихи...

— О! — прошептал он.

— Мне хочется... я подумал: а почему бы мне не издать сборник стихов? Как у Пушкина или Безыменского...

Он как-то странно посмотрел на меня. Теперь, по прошествии стольких лет, я прекрасно понимаю природу этого взгляда и о чем он подумал, но тогда...

Он стоял не шевелясь, и какая-то странная улыбка кривила его лицо. Потом он слегка помотал головой и воскликнул:

— Книгу?! Вашу?! О, это замечательно!.. Это было бы прекрасно! — Потом помолчал, улыбка исчезла, и он сказал с грустью: — Но, видите ли, у нас трудности с этим... с бумагой... это самое... у нас кончилась бумага... ее, ну, просто нет... финита...

— А-а-а, — протянул я, не очень-то понимая, — может быть, я посоветуюсь с дядей?

Он проводил меня до дверей.

Дома за обедом я сказал как бы между прочим:

— А я был в Союзе писателей. Они там все очень обрадовались и сказали, что были бы счастливы издать мою книгу... но у них трудности с бумагой... просто ее нет...

— Бездельники, — сказала тетя.

— А сколько же нужно этой бумаги? — по-деловому спросил дядя.

— Не знаю, — сказал я, — я этого не знаю.

— Ну, — сказал он, — килограмма полтора у меня найдется. Ну, может, два...

Я пожал плечами.

На следующий день я побежал в Союз писателей, но там никого не было. И тот, самый главный, секретарь тоже, на его счастье, отсутствовал.

ЛЮБОВЬ НАВЕКИ

В ранней молодости я был поразительно влюбчив. Нет-нет, это была не похотливость, не склонность к разврату, не холодная расчетливость самца. Это был жаркий огонь, умопомрачение, платоническое безумие. Я влюблялся. И когда смотрел на предмет своей влюбленности, у меня вырастали крылья, и я понимал, что отныне это навсегда.

Конечно, некоторое легкомыслие, свойственное возрасту, определяло степень этого пожара, но я был абсолютно порядочен, верен, щедр, склонен к самопожертвованию и счастлив. И все это до той поры, пока не возникала другая.

Когда появилась Алиса Бошьян, я вздрогнул и понял, что это навсегда. Ее предшественница тотчас померкла. И дело тут было не в красоте, не в особых каких-то достоинствах. Я уже тогда сознавал, что есть что-то, какая-то таинственная власть, утверждающая мое восхищение. Смешно было бы говорить, что у этой, например, глаза были прекраснее, чем у *той*, или что у *этой* манера общения была обворожительней. Нет-нет, и глаза у *той* были прекрасней, и манера общения, и нос, и губы, и характер... А сгорал от *этой* и искренне верил, что уж теперь все, что это навеки.

Когда появилась Алиса Бошьян, я вздрогнул. Она была прекрасна. Высокая, стройная брюнетка с локонами, покоящимися на плечах, с зелеными глазами, с загадочной улыбкой. Она была немногословна, и за этим тоже таилось нечто, что не давало покоя. Я, как брюнет, обычно был склонен к блондинкам, но тут все блондинки показались заурядными. Я даже, помню, удивлялся, мол, как это можно было иметь дело с *той* и даже ею восхищаться и так обольщаться на ее счет, когда в мире существовала *эта*!

Я жил тогда в Тбилиси у своей тети. Шел сорок пятый год. Тетя меня очень любила и была мне вместо матери. Меня, как вчерашнего фронтовика, легко приняли в университет и многое прощали. А прощать было что. Филология меня не очень возбуждала, но мысль о том, что я вчерашний фронтовик, что я жив, что мне в связи с этим все дозволено, что очередная пассия не сводит с меня глаз, что вечером мы пойдем с нею в парк Дома офицеров и будем отбивать ноги в танго, фокстроте, в вальсе-бостоне, — мысль об этом очень возбуждала меня.

И вот появилась Алиса Бошьян, и я вздрогнул и уже через несколько дней решил познакомить ее с моей тетей. Всех предшественниц я тоже приводил к тете, и всем она давала самые возвышенные оценки. И это стало традицией.

— Вот, — сказал я взволнованно, — знакомьтесь, это Алиса Бошьян.

— Я очень рада, — сказала тетя, — он столько рассказывал о вас, и с таким восхищением, что не терпелось познакомиться... О, вот вы какая! Ну, заходите, заходите, я очень рада...

Мы ужинали втроем. Было очень сердечно. Я смотрел то на Алису, то на тетю. Разговор был милым и непринужденным. Тбилисский вечер вливался в окно. Как хорошо, что закончилась война!

Уже было довольно поздно, когда я отправился провожать Алису. Вернулся я не скоро. Вбежал в квартиру, бросился к тете. Она убирала со стола.

— Ну что?! — почти закричал я. — Какова, а? Я ведь говорил!.. Ты ведь не разочаровалась? Да? Да?..

— Ну что ты, — сказала тетя и погладила меня по голове, — она великолепна! Какая фигура! А глаза!.. — Ушла на кухню, вернулась: — Да, кстати, может, конечно, мне показалось, но у нее немного кривые ноги... — и тут же поправилась: — ножки... Впрочем, может быть, и показалось... Да это, в сущности, такой пустяк... Не так ли?

— Конечно, — выдохнул я оторопело.

Спал плохо. Просыпался и думал про ноги Алисы. Подумаешь, думал я, какая мелочь! Утром, проснувшись, снова подумал о том же. Приехал в университет, встретил свою сокурсницу Катю Ломан. У нее были точеные ножки. Оглядел остальных сокурсниц. У всех были великолепные ноги. В конце коридора показалась Алиса. Приблизилась. Я отчетливо разглядел, что у нее ноги действительно кривые. Не очень, но кривые. Да и походка неуклюжая и странная, словно она ступает по скользкому полу.

Через неделю, встречаясь, мы просто здоровались, я, кивнув, проходил мимо в аудиторию и усаживался рядом с Катей и, оглядев ее, понимал, что это навеки.

ГИТАРИСТ

Это случилось в пятьдесят девятом году. Я работал в «Литературной газете». У меня уже были первые песенки и первая широкая известность в узком кругу. Это очень вдохновляло меня. Я очень старался понравиться именно им, моим литературным друзьям. Один из них, назовем его Павлом, позвал меня на свой день рождения. Были приглашены и некоторые другие сотрудники из нашего отдела литературы.

Я отправился к Павлу, конечно, вместе с гитарой и со своим ближайшим другом тех лет, начинающим писателем Владимиром Максимовым.

Мы добрались до Плющихи, нашли дом. Нам открыли дверь. Гостей было уже с избытком, и наши уже были здесь.

И вот мы вошли в комнату и начали рассаживаться за уже накрытым столом. Слышался обычный возбужденный галдеж, затем в него вмешался плеск разливаемого в бокалы вина, затем прозвучал тост в честь пунцового именинника... И звон стекла, и криканье, и вздохи — и вдруг тишина и сосредоточенное поедание праздничных прелестей, и восторженные восклицания, и, в общем, как обычно, удовлетворенное журчание голосов, этакий ручеек, постепенно, от тоста к тосту, превращающийся в мощный поток.

В доме Павла я был впервые, и родственники его были мне незнакомы. Судя по их лицам и разговорам, простые милые люди, в основном из московских работяг. Они и преобладали за столом. А наших было мало, и они, конечно, старались не очень-то «высовываться» и не нарушать господствующего климата своим интеллектуальным вздором. Так, нашептывали друг другу всякие остроты и посмеивались украдкой. Только Володя Максимов был крайне мрачен.

Наконец, когда было достаточно выпито и съедено, отяжелевшие гости потянулись в соседнюю комнату. Мои подмигивали мне многозначительно. Я шел и понимал, что, по уже установившейся традиции, предстоит петь. Меня это в те годы радовало. Я начал привыкать к интересу, который проявляли к моим песням мои друзья. Рядом двигался хмурый Максимов. Пока мы сидели за столом, я, зная о его пристрастии к спиртному, подумал, что наступил этот час и потому он так мрачен. Но оказалось, что он трезв, трезвее меня и всех остальных, и это было непонятно.

В тесной комнате кто сидел, кто стоял. Мне подали гитару. Все замерли. Я чувствовал себя приподнято, хотя, конечно, и волновался: очень хотел угодить слушателям.

— Что же мне вам спеть? — спросил я, перебирая струны, — что-то сразу и не соображу...

— Может быть, «Сапоги»? — шепнул кто-то из своих.

Я подумал, что «Песенка о сапогах» — это военное. Это не ко дню рождения... И посмотрел на Максимова. Он был мрачен.

— Ну, «Неистов и упрямя...», — подсказали снова.

— Нет, — сказал я, — начну-ка с «Последнего троллейбуса»... Все-таки московская тема...

Я стал перебирать струны. Одна фальшивила. Принялся настраивать. Было тихо. Правда, в соседней комнате звенела посуда: там суетились, приводя стол в порядок.

«Когда мне невмочь пересилить беду...» — запел я. Максимов опустил голову. Выпевая, я подумал, что следующей будет «Песенка о Леньке Королеве». Да-да, подумал я, хоть и военная, но все-таки московская.

Я пел и попутно обмозговывал свой небогатый репертуар. И вот конец: «...и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает...» — и последний аккорд. Кто-то из своих захлопал. И вдруг из дальнего угла крикнули требовательно:

— Веселую давай!.. «Цыганочку»!..

— «Цыганочку»!.. — загудели гости, и кто-то затянул «Ехал на ярмарку ухарь-купец...».

Я не понимал, что происходит. Стоял, обнимая гитару. Тут ко мне подскочил Максимов, дернул меня за руку и прошипел:

— Пошли отсюда!.. — и повел меня насильно в прихожую. — Давай одевайся! Скорей, скорей!.. Пошли отсюда!..

Мы вышли из квартиры. Ноги у меня были деревянные. Голова гудела.

— Я не хотел тебе говорить, — сказал, кипя, Максимов уже на ночной улице, — когда мы пришли, там, на столике в прихожей, лежал список гостей, и возле твоей фамилии было написано — «гитарист»!

БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ

Самое начало шестидесятых. У меня уже некоторая известность. Крутятся магнитофоны. Появляются в газетах бичующие меня фельетоны. Это еще больше усиливает интерес ко мне. Бурное для меня время, очень значительное. Ведь мною интересуется публика, ну, может быть, и не очень широкая, ну и, конечно, интересуются не столько мною, сколько моими песенками, которые они пересказывают друг другу, напевают, находят в них что-то близкое для себя... Большая честь.

И вот однажды звонит мужчина с завода твердых сплавов, где-то в районе Марьиной рощи. Называется председателем профкома. Голос у него какой-то странный, какие-то подозрительные интонации слышатся в его речи. Он долго выпрашивает меня — Окуджава ли я и пою ли я свои песни... Ах, тот самый?.. И выступаете с ними?.. Ну да... ну конечно... и выступаете... Тогда вам нужно срочно к шести часам быть у нас в профкоме. Тут дело чрезвычайной важности... Тут, понимаете, такая каша заварилась!..

Еду. Ломаю голову: что может быть у меня общего с заводом твердых сплавов?! Какие это твердые сплавы?!

В профкоме множество народу. Все смотрят на меня разинув рты, всплескивают руками, ахают, чертыхаются.

— Здравствуйте, — говорю я, — что это случилось?

И председатель профкома, задыхаясь от волнения, рассказывает мне о происшедшем.

О том, как несколько дней назад явился в профком молодой человек высокого роста, широкоплечий. Льняные волосы украшают голову. Голубые глаза дружелюбно распахнуты. Сдержан. Немного словен. Вы про Окуджава что-нибудь слышали? Мы говорим, мол, слышали, слышали, ну и что? А я и есть Окуджава, ну, здравствуйте. Тут все наши сбежались, и мы начали сговариваться о его выступлении в нашем клубе. Договорились как раз на сегодня, на семь вечера. Он сказал, что ему нужен аванс в пятьдесят рублей, а остальные, мол, после вечера. Ну, мы дали ему аванс, и он ушел. И тут, через полчаса, наш бухгалтер возьми и скажи: по моему, Окуджава вовсе не такой. Он и постарше, и помельче вроде, худенький такой, и усики у него... Что-то тут не так... Началась у нас паника, и вот сегодня мы к началу вызвали опергруппу после разговора с вами. Скоро он явится, представляете? И возьмут его с поличным, а вы будете свидетелем!

Ко мне подходит лейтенант милиции и спрашивает:

— А документики у вас есть?

Предъявляю ему удостоверение. Все в порядке. Он говорит:

— Прошу всех лишних покинуть помещение.

— Публики полон зал, — говорит кто-то.

Все наэлектризованы. Я больше всех. Дрожь меня сотрясает. Особенно когда думаю о сумме аванса. Ведь в те годы пятьдесят рублей — это была неслыханная плата за выступление, а тут аванс! Я, выступая по разным клубам, получал самое большее тринадцать рублей, а тут аванс!

И вот дело уже к восьми, а мошенника все нет.

— Не придет ваш жулик! — смеется лейтенант. — Что он, дурак, что ли?

— Подождем еще немного, — говорит председатель профкома без всякой надежды.

В восемь часов председатель говорит мне:

— Пойдемте, хоть покажитесь публике... Вот беда!

И вот я выхожу из-за кулис на сцену, и зал меня приветствует, и председатель, вышедший со мной, потерянно говорит в зал:

— Тут, понимаете, вот какая штука получилась... Как бы вам это объяснить...

Я отодвигаю его от микрофона и рассказываю о случившемся. Все хохочут, аплодируют и кричат:

— Пойте! Пойте!..

Председатель шепчет мне:

— Может, выступите?.. Что же теперь-то... Уж теперь придется...

Вдруг у меня мелькает мысль, что все это затеяно специально, чтобы заставить меня выступить!.. Впрочем, эта мысль тут же гаснет, потому что в те годы меня не нужно было уговаривать и всякое приглашение выступить я почитал за большую честь... И все-таки замотал головой и наотрез отказался, мол, я не готовился, и гитары со мной нет, и вообще вы сами видите, как все сложилось...

Так и разошлись.

Через несколько лет в перерыве одного из выступлений кто-то вручил мне конверт. В нем лежала фотография незнакомого мужчины. На обороте была надпись: «Этот человек на книжной ярмарке выдавал себя за вас и давал автографы на ваших книжках».

Глядя на эту фотографию, я вспомнил ту давнюю историю на заводе твердых сплавов. Этот тоже был молодой человек, высокий и широкоплечий. Но он был брюнет, и у него были пышные украинские усы.

И все-таки большая честь.

МИСТИКА

Как-то я написал стихи о Моцарте. Затем возникла мелодия. Получилась песенка о Моцарте. Я начал ее исполнять. Она постепенно стала известна. В конце припева у нее были такие слова: «Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба...»

Однажды мне позвонили из Ленинграда с киностудии «Ленфильм». Они очень просили дать им эту песню для какого-то фильма. При этом рассыпались в похвалах и любезностях. Ну что тут рассыпаться? Я был счастлив. Они пригласили меня приехать в Ленинград.

На киностудии меня ждали к часу дня. В гостинице «Европейская», где мне был приготовлен номер, я расположился за столом, чтобы записать это стихотворение. Все шло хорошо, пока не добрал до той самой после дней строчки в припеве: «...не убирайте ладони со лба». Перо остановилось. Сажу и раздумываю, как все-таки правильнее: «не убирайте ладони» или «не убирайте ладоней»? Чем дольше мучился, тем больше запутывался и наконец плюнул на истину, записал один из вариантов, какой — уже не помню, и вышел из гостиницы.

До киностудии — две остановки в метро. Спускаюсь по нескончаемому ленинградскому эскалатору и продолжаю по инерции размышлять: «ладони» или «ладоней»?..

Вдруг кто-то догоняет меня. Мужчина средних лет. В очках. С портфелем. Не слишком приветлив. Ни «здравствуйте», ни «извините».

— Скажите, песенка о Моцарте ваша?

— Моя, — бормочу растерянно.

— А что значит «не убирайте ладони со лба»? Что под этим подразумевается? Наверно, есть какой-то второй план?..

Он вглядывается в меня пристально. Лицо неподвижное. Я пытаюсь улыбнуться, но не получается. Наконец перебарываю растерянность:

— Ну, это... уж и не знаю, как объяснить...

Он напряженно ждет.

— Ну, когда человек думает, он... ну... держит... подпирает голову ладонями, что ли...

— И это все?! — спрашивает он с мрачным разочарованием. — Вот это?.. И все?..

— И все, — выдыхаю я и пожимаю плечами. А что я еще могу ему сказать? Это же стихи...

Он устремляется вниз по бегущему эскалатору. И вновь ни «спасибо», ни «до свиданья». «Ну и ну!» — почти кричу я, задыхаясь от изумления.

Обалдевший, добираюсь до киностудии, где меня ждут. Милые люди, давние знакомые, почитатели. Не могу удержаться и выпаливаю им о происшествии, об этом самом, о моих утренних сомнениях, о странной встрече на эскалаторе!

— Мистика!.. — говорю я. — Ломал голову — и вдруг этот в метро!..

Они смеются с вежливым одобрением.

— Да нет, — говорю я, — это действительно было... Вот только что!

Они улыбаются и кивают. Им нравится мое сочинение.

— Да я не придумал, — настаиваю я, — все так и было...

— Ну конечно, конечно, — смеются они.

НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ

Еду по Тверскому бульвару. Везу в машине только что полученные авторские экземпляры своего исторического романа «Похождения Шипова». Настроение приподнятое. Книга издана приятно. Моя книга. Еду. Вдруг, уже сейчас не помню — но что-то такое на пути, что-то я объезжаю, какое-то неожиданное препятствие... А впереди — инспектор ГАИ, и он велит мне остановиться. Останавливаюсь.

Он подходит вразвалочку, берет под козырек. Капитан. Такой невысокий, плотный, аккуратный, непроницаемый и вежливый.

— Что же это вы? — говорит он. — Как же это так?.. Загляделись? Пожалуйста, ваши документы.

Я хорошо знаю, что за этой вежливостью. Он меня отчитает неизвестно за что, оштрафует, поглумится, дай-то бог, а ведь может и документы отобрать, и распясть... Сейчас уже не помню, что произошло, помню только, что моей вины не было, но помню также, что понимал: все равно накажет. Уж если остановил — не отвертеться.

— Позвольте, — говорю я, — но ведь там был троллейбус... А я ведь не должен... и потом, ведь у поворота... а я же сзади...

Он слушает, не перебивает меня. Смотрит, куда я показываю нервной рукой. Губы поджаты, глаза прищурены.

— И потом, — говорю я, — вы только представьте...

И вдруг он говорит:

— Вы правы. Действительно. Этой детали я не учел, — и протягивает мне документы, в которые даже не заглянул.

Что же это такое?! Как это так?! Инспектор ГАИ, признавший себя неправым?! Я к этому не привык! Я не приспособлен! Что-то надо сделать... Как-то это отметить... Тут я вспоминаю, что у меня же экземпляры романа! О, инспектор!

— Погодите, — говорю я задыхаясь, — просто не верится, что инспектор ГАИ со мной согласился! Чудо!..

Он хмур, он смотрит, как я широко улыбаюсь, но его губы плотно сжаты.

— Вы знаете, — суетливо говорю я, — у меня только что вышел исторический роман, и я хочу подарить вам эту книгу.

Он разглядывает меня, чуть наклонив голову.

— Интересно, — говорит он, — интересно.

— Присядьте, пожалуйста, в машину, я вам надпишу...

Он устраивается на сиденье и берет в руки книгу.

— Интересно, — говорит он, перелистывая, — это о чем же?

— Это о Льве Толстом, — говорю я, — подлинное событие в его жизни.

— А, — говорит он, — о Толстом... Да... Это вы написали?

— Да-да, я автор, и мне хочется в знак нашей удивительной встречи подарить ее вам.

Он захлопывает книгу и протягивает ее мне.

— Сейчас, сейчас, — говорю я и тянусь за ручкой.

— Да нет, — говорит он, — эту книгу мне не надо.

— То есть как?! — смеюсь я, ничего не понимая.

— А вот так, — говорит он спокойно, — я про Толстого все читал. — И вылезает из машины.

И я вижу, как он уходит — плотный, аккуратный, короткошей, медлительный. И сапоги его блестят.

ШКОЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Я вообще человек непьющий, ну, может, пару рюмочек в компании — и все. А в начале семидесятых, когда стал автомобилистом, даже это прекратилось, если предстояло сесть за руль. И какая бы ни была компания — только минеральная вода или сок. То ли это заговорило законопослушание, то ли чувство собственного достоинства — не мне судить.

Но однажды некая сила все-таки вознамерилась меня испытать, ткнуть носом, пугнуть.

Тогда я жил у Речного вокзала на Ленинградском шоссе. Я был приглашен посольством Германии в числе других, как это называется, деятелей культуры на пароходную прогулку. Название зафрахтованного теплохода уже не помню, а отплытие было назначено на семь часов вечера от Речного вокзала. А Речной вокзал был на расстоянии нескольких сот метров от моего дома. Пешком — минут пять.

Но я, начинающий автомобилист, влюбленный в свою темно-зеленую машину, конечно, отправился к речному порту на ней. Подкатил. Поставил ее рядом с другими машинами и пошел на причал.

Белый теплоход заполнялся нарядными гостями — немцами, американцами, но в основном нашими. Встретились знакомые. Все были возбуждены, как это водится в подобных случаях. Постепенно разбились на отдельные компании, устроились в разных гостиных по симпатиям, переходили из салона в салон. Общего стола не было, но было множество официантов, разносивших аппетитную снедь и питье в большом количестве.

В салончик, в котором я устроился со своими друзьями, время от времени заходили и другие гости. Беседовали о том о сем, сплетничали, рассказывали анекдоты и ели и пили, пили, пили. Было множество знакомых и не знакомых знаменитостей. Заглянула к нам и Алла Пугачева, начинавшая тогда приобретать известность. Мы познакомились. Она спела новую песню на слова Осипа Мандельштама, и все ее поздравляли и пили, пили, пили.

Внезапно какая-то сладкая боль задела меня и обожгла — и тут же утихла. И вскоре возникла вновь. Это произошло, когда я узнал, что наше путешествие рассчитано на семь часов. Отчего же мне тогда не выпить рюмочку? — подумал я. За семь-то часов все ведь улетучится!.. И я выпил. Боль тут же затихла. Было шумно, весело. Я выпил вторую.

Постепенно стемнело. Люстры засияли. На лицах было вдохновение. Официанты были снисходительны и щедры. Голова кружилась. Джин с тоником, виски с содовой, арманьяк, бордо — все невиданное, непробованное, знаменитое!

Я понимал, что опьянел. Я это прекрасно понимал, но впереди было семь часов!

Глухой звук паровозного двигателя внезапно смолк, и все почему-то засуетились.

— Что случилось? — спросил я.

— Все. Приехали, — сказали мне.

— Так ведь говорили... семь часов...

— А уже почти восемь прошло.

Я еле двигался, хотя все соображал. Потянулся за всеми к выходу. Как-то так получилось, что меня все обогнали, и когда я вышел на площадь перед зданием Речного вокзала, машин уже не было. В последнюю какую-то иномарку со смехом усаживались иностранные гости. Я подумал, что если они могут ехать через всю Москву, почему же я не смогу? Вон ведь дом-то совсем рядом. Я увидел вдалеке свою темно-зеленую любимицу. Она преданно ждала меня. Как я дошел до нее, не помню. Было сложно, но дошел и уселся, и включил свет, и завел. Она ожила. Я понимал, что пьян, но дом-то ведь вот он, да и город пуст. И поехал. Миновал парк и ловко так выехал на Ленинградское шоссе. Ни одной машины. Третий час ночи.

Вдруг вижу: впереди инспектор ГАИ, и он машет палочкой, чтобы я остановился. Останавливаюсь и вылезая, и понимаю чрезвычайность ситуации, и с осторожностью к нему приближаюсь.

Он стоит среди пустынного шоссе и хохочет, и говорит:

— Что это вы посреди шоссе встали? А ну-ка к тротуарчику...

Залезаю в машину, ставлю ее к тротуару. Действительно, что это я?.. Снова приближаюсь к нему и протягиваю документы, но так, чтобы по возможности быть от него подальше.

— Выпили? — спрашивает он и хохочет, и берет документы.

— Нет, — говорю я.

Он снова хохочет. Приятный парень. Ему, наверно, одиноко на этом пустынном шоссе.

— Ну, рюмочку, — говорю я, — тут был прием посольский...

— Знаю, знаю, — смеется он, — а вы забыли двигатель выключить.

Я побежал к машине, то есть это мне казалось, что я бегу. Выключил двигатель. Да я уже и не пьян...

— Вы знаете, — сказал, вновь приблизившись, — вот мой дом, видите? Садитесь со мной в машину, и вы увидите, как я ее поведу... Садитесь...

Он снова захохотал и сказал:

— Я бесплатно ездить не люблю. Понимаете? Дошло?

Пьян, пьян, но я тут же все понял. Порылся в карманах, достал помятые двадцать пять рублей (а по тем временам это была значительная сумма) и протянул ему.

Он взял их, спрятал, вернул мои документы и сказал с дружеской улыбкой:

— Ладно, садитесь в машину и аккуратненько, аккуратненько, — и погрозил пальцем.

Я почувствовал себя лучше. В голове прояснилось.

— Послушайте, — сказал я без вражды, — ну ладно, что было, то было. А как вы догадались, что я выпил?



Он снова расхохотался, так по-братски взял меня под локоть и подвел к машине.

— Во-первых, — сказал он, — когда вы выехали на шоссе, вас понесло почему-то в третий ряд!.. Во-вторых, все Ленинградское шоссе тотчас пропахло спиртным перегаром... Да-да, пропахло... В-третьих, вы протянули мне документы и уронили их и двадцать минут ползали по асфальту, их подбирали... Я обхохотался...

Ничего себе, подумал я, какое унижение! Он перестал смеяться. Лицо помрачнело.

— Я уж не говорю о том, на что вы были похожи, когда побежали выключать двигатель, — сказал он с отвращением и повернулся ко мне спиной.

...В полдень проснулся и вспомнил об этом. Какое унижение!

С тех пор за рулем — ни капли.

ВИКА

С Викой Некрасовым мы были друзьями. Ну, может, не закадычными, но я его очень любил и ценил, и он, как мне кажется, отвечал тем же. Его литературный дар известен всем, но обаяние, доброжелательность, искренность и неподкупность были не менее значительны.

Мы познакомились давно, но встречались редко — когда он выбирался в Москву из своего Киева.

Вскоре наступило отвратительное время, и его за непокорность и строптивость вытолкали из страны. Он уехал в Париж. Имя его стало у нас запретным. Голос на «Радио Свобода» — тоже. А уж общение с ним — преступлением против советской власти.

Однажды я получил из Франции письмо без подписи. Гадал-гадал, от кого оно, — все напрасно. Мой сын повертел в руках конверт и вдруг ткнул пальцем в почтовую марку. Я взгляделся. Боже мой! На марке было изображено лицо Вики! На марке, как обычно, стоял советский почтовый штемпель: не заметили!

Примерно через год после его отъезда я был отправлен в Париж с группой поэтов для участия в большом поэтическом вечере. Из отеля я тотчас позвонил Вике. Он очень обрадовался и сказал, что на вечере непременно будет, но, так как там мы встретиться не сможем, меня тайно привезут к нему домой после выступлений.

Минут за пятнадцать до начала я вышел на большую сцену без занавеса, чтобы посмотреть на публику. Громадный зал был переполнен. Первый ряд занимали работники советского посольства. Они были почти в одинаковых костюмах и в одинаковых галстуках. Физиономии были напряжены, даже суровы. Они очень отличались от остальной публики — веселой, праздничной, по-парижски раскованной. И увидел я в зале знакомые эмигрантские лица. На виду у посольских общаться было крайне опасно, поэтому мы перемигивались, кивали друг другу.

И тут я заметил во втором ряду, прямо за посольскими спинами, Вику! Он был в сером пиджачке, ворот нараспашку. Он смотрел на меня, широко улыбаясь. Не могу объяснить, как это все получилось. Конечно, не храбрость вдохновила меня, но какая-то тайная сила толкнула к ступенькам, я сбежал в зал и кинулся к нему. Он вскочил, и мы крепко обнялись через головы мрачно застывших посольских. Дух захватило. Все, подумал я, теперь никуда не выпустят!.. Теперь все... — подумал я. Ну и ладно... и черт с ними!..

После концерта мы встретились у него дома. Выпили. Хохотали, вспоминая эти предосудительные объятия.

— Ну ты и смельчак! — смеялся он.

Я был горд и счастлив.

После этого мы встречались почти каждый день, и всегда в кафе «Монпарнас», на втором этаже. И каждый раз он приносил с собой фотоаппарат, подзывал официанта и просил нас щелкнуть. То ли судьба была ко мне снисходительна, то ли посольские так обалдели, наблюдая наши преступные объятия, что махнули рукой, то ли в воздухе запахло чем-то новым, но я и

после несколько раз попадал в Париж, и ритуал оставался не изменным: кафе «Монпарнас», второй этаж и щелкающий официант.

И вот уже в разгар перестройки произошла очередная встреча. Опасаться было нечего. Но традиция сохранялась. Вновь то же кафе и щелкающий официант. Вика был после больницы. Осунувшийся, грустный, и разговор у нас был какой-то странный, без прежнего огонька.

Через месяц, уже в Москве, я получил от него очередное письмо с вложенной в конверт нашей последней фотографией. Грустная. Лица у нас почему-то зеленоватые на синем фоне. Я уставился на нее и не мог оторваться. Зазвонил телефон. Так, разглядывая ее, я взял трубку. Звонила приятельница из Парижа. Она сообщила, что Виктор Некрасов сегодня скончался.

МЫШКА

Однажды зимним вечером я сидел в Переделкино у телевизора. Вдруг из-под дивана вышла мышь и уселась у моей ноги. Я закричал с отвращением, и она исчезла под диваном.

Покой рухнул. Я вспомнил прошлогоднее нашествие мышей, как я, забросив все дела, расставлял мышеловки, рассыпал отравленные зерна, выбрасывал на снег серые трупки, прятал пищу, брезговал к ней прикасаться... А они продолжали бесчинствовать. Их становилось все больше и больше. Они вскарабкивались по шторам, пищали, повсюду оставляли свои отвратительные следы и плодились за шкафом, и розовенькие их наследники время от времени выползали оттуда на свет божий...

Так продолжалось с месяц. Я выдохся, опустил руки. Вдруг они исчезли. Специалисты объяснили, что это был какой-то специфический мышинный год.

И вот теперь снова?!

Я замер на диване, и она появилась снова и снова уселась у моей ноги. Я шевельнул ногой — она исчезла. Страх и отвращение бушевали во мне. Я вытащил из чулана мышеловку, зарядил ее и поставил в темном углу. Покоя снова не было.

Я плохо спал. Весь следующий день она не появлялась. Но вечером, едва я уселся перед телевизором, она возникла. Она сидела у моей ноги, спиной ко мне, и не отрываясь глядела на экран. Я шевельнул ногой — она нехотя удалилась. Я замер — она вышла из-под дивана и уселась на прежнее место. Странно, но я уже не испытывал отвращения. Напротив, какой-то интерес, какое-то ненавязчивое любопытство проснулось во мне. Что это такое? Что за поза у нее? Чего она хочет?..

Я наклонился, чтобы к ней присмотреться, но она исчезла.

В течение следующих дней все совершалось по уже установившемуся распорядку. Я постепенно разглядел ее. Она была хороша! Вдруг я понял, что она хороша. Я видел ее маленькие сверкающие черные глазки и изысканную мордочку, и светло-серую шубку, и выразительный хвостик крендельком. Она привыкала. Она постепенно перестала исчезать под диваном, а просто чуть-чуть деликатно отодвигалась в сторону, стоило мне пошевелиться.

Я положил на пол кусочек печенья. Она его с аппетитом погрызла, утерлась лапкой и вновь уселась на экран.

Прошел месяц. Чего только не испробовала она, чем только не лакобилась: и печеньем, и салом, и колбаской... Я привык к ней, мало того — привязался. Теперь было бы странно смотреть телевизор в прежнем одиночестве. Не знаю, чем она занималась днем, но вечером зажигался экран — и она тотчас усаживалась перед ним. Мне было хорошо. Я даже перестал вспоминать прошлогоднюю стаю серых животных, эту беснующуюся толпу.

Я вообще не любитель толп. Слава богу, что хоть у меня в доме они отбушевали. А это маленькое изящное существо в светло-серой шубке тоже, видимо, склонно к уединению и вряд ли тоскует по своим суматошным соплеменникам...

Днем я, как всегда, работал за своим столом. Зимой темнеет рано. Я подумал, что скоро включу телевизор и мы усядемся с нею...

Вдруг что-то громко щелкнуло. Присмотрелся — а это сработала мышеловка, о которой я успел позабыть! Кинулся к ней — а в ней моя мышка!..

Как-то у меня сидели друзья. Я рассказал им эту историю. Все удрученно замолкли. Фазиль вскрикнул: «Неужели насмерть?!»

Я — ШВЕДСКИЙ ШПИОН

Шестьдесят пятый год. Меня отправляют на Дальний Восток с выступлениями. Я не рвусь туда, никогда этого не добивался, но Союз писателей как-то чрезмерно заинтересован, какая-то таинственная вибрация сотрясает его механизм, в те годы достаточно мощный. Я позволяю себе всякие капризы. Ну, например, говорю, что самолетом не полечу — только по железной дороге. Организаторы не возражают: пожалуйста, как вам будет угодно, нам все доступно, поездом — так поездом. Поедете в спальном вагоне до самого-самого... Но этого мне мало. Я ведь буду в двухспальном купе не один. Какой-нибудь незнакомый тип будет все восемь дней истязать меня храпом, разговорами, а может, будет пить беспробудно и дышать винным перегаром.

— Возьмите мне два билета, — говорю я жестко, — я хочу ехать один.

— Нет проблем, — улыбаются они.

Наконец все оформлено. Я получаю пропуск на въезд во Владивосток. (В те годы этот приграничный город был на специальном режиме.) Забираюсь в свое купе. Устраиваюсь: ехать ведь долго. Какое счастье — я один! Все развешиваю, расставляю. Пишущая машинка на столике, бумага, перо...

Приходит проводник. Рыжий чубчик. Широкая улыбка.

— Чайку не желаете?

Он приносит чай, печенье. Его зовут Паша.

Поезд идет. Спускается ночь. Я хорошо высыпаюсь. Утром выхожу в коридор. Паша проходит мимо. На меня не смотрит.

— Здравствуйте, Паша.

Он отворачивается, отворачивается и не отвечает.

Ну вот, думаю я с раздражением, очередной хам, а казался таким свойским. И действительно, он не отвечает на мои вопросы, а если и отвечает, то глядя мимо меня и так, что желание спрашивать пропадает. Чаю больше не предлагает. Мне не хочется унижаться. Хожу в вагон-ресторан и ем и пью сколько пожелаю.

Мне работается. Пейзаж за окном однообразен. Проходят дни. Приближается Владивосток. В последнюю ночь, накануне приезда, я просыпаюсь от стука в дверь, она тотчас же открывается, и входит офицер:

— Проверка пропусков.

Подаю ему пропуск. Он долго его изучает.

— Паспорт, — говорит он.

Протягиваю паспорт. Он ведет себя странно. Движения замедленны, губы сжаты. Он вчитывается в каждую букву.

— Какие еще есть документы?

Я понимаю: что-то не так. И молча выполняю его распоряжения. Предлагаю ему писательскую книжку, командировочное удостоверение, военный билет...

Он изучает их долго-долго. Потом возвращает, козыряет и уходит, и я вижу, как рыжий Паша семенит за ним следом.

Утром как ни в чем не бывало, радостно улыбаясь, Паша приносит мне чай и пачку печенья. И садится напротив меня, и я узнаю следующее.

В день моего отъезда из Москвы все московские вокзалы получили секретное извещение о том, что некий швед выехал из Москвы в неизвестном направлении без специального на то разрешения. Опергруппы на всех вокзалах принялись за поиски. По всем поездам команда: проводники обязаны следить за всем подозрительным и регулярно докладывать. Шпион не должен действовать безнаказанно.

Получив задание, Паша тут же сообщил, что в его вагоне находится подозрительный тип: едет один в купе по двум билетам, на остановках не выходит, целый день стучит на машинке. Роста среднего. Худой. Черный чубчик, черные усики. Типичный швед.

Донесение Паши выслушали с вожделием, а так как в те годы понятие «лицо кавказской национальности» было не в ходу, сразу догадались, что речь идет о шведе. Все восемь дней тщательно следили и, конечно, крайне огорчились, проверив документы...

— Я им в первый день сказал, мол, проверьте документы, чего восемь дней-то тянуть, — говорит Паша, улыбаясь во весь рот, — а они мне, мол, мы профессионалы, и ты нас не учи, понятно?.. А я тоже думал, что вы шведский шпион! — и хохочет. Такой милый, свойский, такой бдительный. Паша.

УБИЙЦА

Не прошло и года, как случилось невероятное: Союз писателей организовал туристическую группу для поездки в Швецию и меня с женой включили тоже! Я не верил: впервые в капиталистическую Европу! Свершилось! Группа была маленькая: восемь писателей с женами. Шестнадцать человек. И я среди них! Женя Евтушенко на Западе уже бывал, и неоднократно, но радовался за меня и подмигивал поощрительно. И вдруг перед самым отъездом выяснилось, что меня из списка вычеркнули!.. Я чуть не заплакал. Я побежал к Ильину — генералу КГБ, который руководил московскими писателями. Он кивнул на потолок и сказал, что в отношении меня передумали.

— Сам виноват, — сказал он с грустью, — поешь всякие песенки, раздражаешь начальство...

— Да как же так?! — выдохнул я с отчаянием. — Я был так рад... и жена... Я же фронтовик!..

— Ничего, — сказал он неумолимо, — наладь все эти дела, и в следующий раз...

И тут вошел обеспокоенный Евтушенко. Он кивнул генералу, сел напротив без приглашения и сказал мрачно:

— Виктор Николаевич, дело в том, что вся Швеция с замиранием сердца ждет его, — (он кивнул в мою сторону), — приезда. У них очень большой ажиотаж... — (Я похолодел: впервые я слышал о себе такое.) — Если он не приедет, разразится международный скандал. Я не знаю, по чьей вине, но объяснить будет невозможно... В конце концов, я беру на себя всю ответственность... Ведь все было готово, и вдруг такое!..

Ильин слушал, кивал, поглядывал на меня, а я сидел ни жив ни мертв, и что-то такое во мне оборвалось, а в жизни моей было так много подобного — оскорбительных унижений или унижительных оскорблений или и того и другого, да в таком количестве... Ничего, подумал я, не сдохну.

— Ну ладно, — вдруг сказал генерал, — ладно, беру на себя ответственность, ладно, черт с вами...

Когда мы вышли, я спросил Женю:

— Что это ты говорил насчет ажиотажа?

— Какого ажиотажа? — не понял он.

— Ну, ты говорил... — сказал я.

— А-а, — махнул он рукой и засмеялся.

На следующий день на Моховой в каком-то учреждении, сейчас уж и не помню в каком, с нами провели собеседование. Я слушал очень внимательно, не пропускал ни единого слова, был крайне возбужден. В заключение чиновник с холодными глазами суммировал сказанное:

— Запомните: вы едете в капиталистическую страну. В этом мире кишат шпионы и диверсанты. Запомните: особенно опасны хиппи...

— Кто это такие?! — спросил я, теряя сознание.

— Это, — сказал чиновник, — молодые люди с длинными волосами, наркоманы и убийцы...

Радость моя померкла. Напряжение достигло апогея.

И мы поехали в Швецию.

В Стокгольме было солнечно и жарко. Город был прекрасен. О, если бы не назойливая мысль о таящихся в нем опасностях! Если бы не страх, сковывающий наши души!.. Удобная и чистая гостиница, доброжелательное обслуживание, изысканный непривычный ужин, но постоянный озноб, дрожь по коже и мысли об опасности. Из окна четвертого этажа мы видели чистую улицу и раскованных, хорошо одетых прохожих и чистенькие «мерседесы» и «вольво». Но это с четвертого этажа.

— А попробуй выйди туда — и сразу что-нибудь случится, — шепотом сказал я.

Жена кивнула. На первый день никаких коллективных мероприятий не было. Вдруг жена моя поморщилась и сказала мне тоже шепотом:

— Ну что, так и будем сидеть взаперти? Какого черта!.. — и вдруг пошла к двери.

Я потащился за ней. Мы общались только шепотом. В лифте набилось полно народу. Они улыбались друг другу, хохотали, и слышалась шведская, английская и французская речь. А мы? А мы перешептывались и презирали сами себя. И когда спустились и вышли в холл, жена произнесла громко и отчетливо:

— Хватит! Я подумала: или как шведы, или закрыться в туалете на весь срок поездки! Какое я имею отношение к шпионам, а тем более — к диверсантам?! Хватит!.. Мы вышли на шумную улицу.

— Посмотри на их лица, — сказала она, — как они смеются, как движутся... Ничего себе шпионы!

— Тише, тише, — шепнул я и напряженно оглянулся.

Она умолкла. Было душно. Потом сказала с горечью:

— Вот потопчемся перед гостиницей, и можно в Москву возвращаться... Господи, как душно!..

И тут я увидел прямо у самого подъезда — автоматы с кока-колой. Мы подошли к ним. Я опустил монету, но автомат не сработал. Я стал нажимать какие-то кнопки — никакого толку. Достал другую монету. Вдруг увидел слева от себя громадную волосатую руку. Она тянулась к моей монете! Я поднял голову и похолодел: рядом со мной стоял высоченный хиппи с волосами до плеч. Он бормотал что-то и тянулся к моей монете.

— Отдай ему, отдай, — прошептала бледная моя жена, — да отдай же!

Ну вот, подумал я, сбылись зловещие пророчества.

— Лучше отдай, — шепнула жена с отчаянием, — он на все способен!

А хиппи что-то бубнил и продолжал тянуться к монете. И я отдал ее ему. Я был унижен. Неужели, подумал я, он способен убить из-за такой ерунды?! Я показал жене глазами на дверь в гостиницу, но она пребывала в столбняке. Я напряженно следил за хиппи. Я ждал подвоха: без этого не могло быть... Я же не просил его... А если бы даже попросил, он не обязан... Он мог просто... почему он должен? Он мог сказать: «Да иди ты!..» И я бы пошел...

Хиппи опустил монетку в щелочку автомата, нажал какую-то кнопку, и ледяная бутылка впрыгнула ему на ладонь. Он сорвал пробку, и лицо его расплылось в улыбке. Он протянул бутылку моей жене! И при этом поклонился! И ушел... «Бай-бай...»

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО!

Уже после начала перестройки я снова побывал в Швеции. Я гулял по Стокгольму. Я ничего не боялся. Пугальщики замерли, словно их никогда и не было. Все предшествующие годы я теперь вспоминал с улыбкой, краснел за себя того и радовался новым обстоятельствам. Кстати, вспомнил еще несколько эпизодов, связанных с той, теперь уже давней, поездкой туристом.

Тогда, еще не представляя себе, что смогу поехать в Швецию, я познакомился в Москве с шведским корреспондентом и писателем Хансом. Мы иногда общались. Он был веселый, умный молодой человек, который никак не мог совместить грусть моих стихов и песен с красной суетой в моем воспаленном мозгу. Затем срок его пребывания в Москве закончился, он уехал к себе на родину, а тут вскоре и мне выпала честь впервые заглянуть в капиталистический мир. И вот в Стокгольме, уже после истории с хиппи, когда я уже кое-что уяснил, конечно не до конца, он разыскал меня и пригласил нас с женой в свой дом поужинать.

Это была двухэтажная квартира. Я таких никогда не видел! Внизу был накрыт изысканный стол. Было вкусно, шумно и весело. Звучали анекдоты, в которых мои соотечественники представляли в комическом свете. Ханс был прекрасен. Вдруг он предложил мне посмотреть второй этаж его квартиры. Настроение было хорошее. Голова немного кружилась. Я кивнул и двинулся за ним. Меня поразило устройство этой квартиры. Конечно, подумал я, корреспондент — это же богатый человек! Внезапно в мозгу возникло подозрение: а что если он обыкновенный разведчик?! И пригласил меня в свой дом и теперь ведет меня... на второй этаж!.. А там что? И теперь, подумал я, он начнет уговаривать меня... ну, это... сотрудничать...

Я переступал деревянными ногами. Я шел за ним, как пленник. Он оборачивался и улыбался. Знаю я ваши улыбки! Мы поднялись. Я втянул голову в плечи. Знаем мы... Хмель выветрился.

— Ну вот, — сказал он, — это мой кабинет. Что-то такое проступило сквозь туман.

— А это спальня, — сказал он, приоткрыв следующую дверь.

Вот сейчас! — подумал я и остановился.

— Ну что? — спросил он. — Тебе, кажется, не интересно?

— Да что я, спален не видел? — пробормотал я. — Давай, пожалуй, вернемся, — и ждал, что он сейчас-то и начнет...

— Хорошо, — легко согласился он, — сейчас нам подадут крабов. Ты любишь крабов? Я никогда не ел крабов.

— Конечно, — сказал я, и дышать стало полегче...

...Через несколько дней случилась еще одна нелепость. Женя Евтушенко, давно ставший завсегдатаем в Европе, очень меня опекал и старался всеми силами приобщить к Западу. И вот он уговорил нашего общего знакомого — шведского издателя — устроить посещение ночного клуба со стриптизом! Когда все было решено, я внутренне возликовал, но деланно поморщился, ибо одна моя половина была, естественно, переполнена любопытством, жадной открытий, очарована доступностью тайны, но вторая, красная, горела на медленном огне заслуженного ханжества. Вот и гримаса отвращения.

Мы заняли столик перед самой сценой. Вспыхнул свет. Женя и моя жена сидели напротив меня. Он что-то говорил ей, и она поглядывала на меня с большим интересом. Грянула музыка. На сцене появилась женщина в короткой крахмальной юбочке, длинноногая, с большой пышной грудью, покуда скрытой под кружевной блузочкой. Ну и что? — подумал я, скажите пожалуйста, невидаль... Женщина начала пританцовывать.

— И это все? — спросил я небрежно. Женщина сбросила с себя блузочку. Женя подскочил ко мне.

— Я должен тебя предупредить, — горячо прошептал он, — сейчас она обнажится, спустится в зал и, возможно, сядет тебе на колени...

— Что?! — чуть не крикнул я.

— Ну, у них так принято, — сказал он, — я знаю... Но ты не вздумай ее оттолкнуть или еще что-нибудь... Ты понял? Не надо скандалов...

И снова уселся на свое место, и снова переглянулся с моей женой.

Танцовщица продолжала раздеваться. Сначала скинула бюстгальтер, и обнажились не очень упругие груди, колышущиеся в такт музыке. Затем, словно осенний лист, слетела с нее пышная юбочка. Единственное, что осталось, — это нечто, напоминающее фиговый листок...

Я ждал. Я так напрягся, что не слышал музыки. Сейчас она сойдет со сцены... Но музыка умолкла, и раздались жидкие аплодисменты. Свет на сцене погас. Я был спасен. Сердце билось отчаянно. Моя жена и Женя посмеивались.

Да, все это было. И вот пролетело двадцать лет, и я снова в Стокгольме. Я еду в автомобиле. Солнечный осенний полдень. Вдруг машина останавливается, и я вижу, что и все идущие впереди машины остановились тоже. Затор. Светофора нет. Впереди на улице, пересекающей нашу, какое-то движение. Я вижу эскадрон всадников в старинных одеяниях: то ли гусары, то ли уланы. Они медленно, торжественно пересекают наш путь, а за ними, вы только представьте себе, за ними — старинное открытое ландо, да-да, ландо, и в нем — женская фигура. Я ахнул: это была королева Швеции! Ах, ведь не каждый день случается такое!

Я кинулся из машины и побежал, побежал туда, к перекрестку, скорей, скорей, успеть бы... Встал на самом углу. Стою, сгорая. На мне плащ и кепка. Ландо поравнялось со мной. Королева Швеции, Сильвия, вся — красота и достоинство, восседает на кожаном троне! И я вижу, как она поворачивает свою королевскую голову и всматривается в меня, всматривается... Я хотел ей поклониться, но она уже отвернулась. Не успел я огорчиться, как она снова взглянула на меня! Второй раз! И вновь отвернулась.

Воротившись в гостиницу, я, переполненный всякими возвышенными чувствами, рискнул написать ей коротенькое послание.

«Ваше Величество!

Я стоял на краю тротуара. Вы проезжали мимо и два раза внимательно посмотрели на меня. Я не монархист, Ваше Величество, но мне было крайне приятно, и я навсегда запомню этот день!»

На следующий день мне вручили от нее ответ!

«Милостивый государь!

Я помню: вы действительно стояли на краю тротуара, и я два раза внимательно на вас посмотрела, потому что, когда я поравнялась с вами, вы, милостивый государь, не сняли кепку».